



Мунк М. де, Гилен П. У нас все еще есть мечта. Призыв к разумно дерзкой науке. DOI 10.17506/26867206_2022_22_3_9 // Антиномии. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 9–25.

УДК 304

DOI 10.17506/26867206_2022_22_3_9

У нас все еще есть мечта. Призыв к разумно дерзкой науке

Марлиз де Мунк

Антверпенский университет
г. Антверпен, Бельгия

Паскаль Гилен

Антверпенский университет
г. Антверпен, Бельгия

Поступила в редакцию 24.05.2022

В наши дни в исследованиях в области гуманитарных и социальных наук преобладают аналитические, объективистские методы, которые выносят чувственное понимание мира за рамки формального научного подхода. Эта тенденция лишает проект модерна как познание мира гуманистического измерения. Кроме того, выбор в пользу личного продвижения по карьерной лестнице, который совершает исследователь в соответствии с современным научным идеалом отчуждения от мира, также препятствует воплощению общей мечты о прогрессе. Вместе с тем в статье утверждается, что эстетическое мышление и грезы о лучшем будущем являются важными элементами первоначального проекта модерна, о чем свидетельствуют труды философов раннего Нового времени – Декарта и Бэкона. В этой статье мы хотим переосмыслить понимание чувственного восприятия (*греч.* *aesthesis*) и определить его как неотъемлемую часть познания, а также воззвать в унисон с Ф. Ницше к «разумно дерзкой» науке.

Ключевые слова: разумно дерзкая наука, чувственное восприятие, экспериментальное знание, наука модерна, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон, Фридрих Ницше



© Мунк М. де, Гилен П., 2022

We Still Have a Dream. A Plea for a Sensibly Audacious Science

Marlies De Munck

University of Antwerp
Antwerp, Belgium

Pascal Gielen

University of Antwerp
Antwerp, Belgium

Received 24.05.2022

Abstract. Today, academic research in the human and social sciences is dominated by analytical, objectivistic methods that push an aesthetic understanding and interpretation of the world beyond the ranks of science. This not only deprives the modern project of a humanistic kind of knowledge. The individualistic career model that is sanctified by the contemporary scientific ideal of detachment also thwarts the collective modern dream of progress. However, this article argues that aesthetic thinking and dreaming of a better future are substantial parts of the original modern project, as we see in the early modern thinking of Descartes and Bacon. This article wants to revalue *aesthesis* as an essential part of knowledge and pleas, in line with Nietzsche, for a sensibly audacious science.

Keywords: Sensibly Audacious Science; Aesthesis; Experimental Knowledge; Modern Science; René Descartes; Francis Bacon; Friedrich Nietzsche

For citation: Munck M. de, Gielen P. We Still Have a Dream. A Plea for a Sensibly Audacious Science, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 9-25. (in Russ.). DOI 10.17506/26867206_2022_22_3_9.

Те, кто отделяет науки от искусств и философии, в моих глазах... подобны тирану, который завоевывает важный процветающий и густонаселенный вражеский город и затем, дабы никакие угрозы не исходили из этого города в будущем, разрушает его и рассеивает его граждан по обширным территориям, чтобы у них никогда... не хватило мужества сговориться или прийти друг другу на помощь.

Джамбаттисто Вико

Разделение властей

Как насчет того, чтобы написать что-нибудь разумно дерзкое? Давайте мысленно вернемся туда, где проект модерна сбился с пути. Это был момент, когда наука оборвала свою связь с миром; когда она пожертвовала своей мечтой об общем будущем в обмен на определенность. Это было время, когда науки предали анафеме всякую умозрительность и начали упиваться собственным скептицизмом. Это было также время, когда чувственный трепет перестал считаться движущей силой познания. Науки больше не дают знаний о таких вещах. В такой момент, когда свет общего воображения тускнеет на горизонте, общества теряют ориентацию. Мы вместе

маршировали к цели, но сбились с курса. Когда вера в рай или утопию испаряется, науку ценят только за прагматичные решения, которые она способна предложить. В этом случае знание перестает служить людям, давая им возможность жить вместе; оно просто изо дня в день служит для их выживания.

Когда их общая мечта и стремление к общему для всех горизонту исчезли, искусство и наука вступили в полный драматизма «бракоразводный» процесс. И чем больше науки сосредотачивались на формальных методах, тем ярче проявлялась формализация и в искусствах. По обе стороны этого расширявшегося разлома во главу угла ставился уже не сам предмет обсуждения, а прежде всего отношение к нему. На деле это свелось к тому, что музыка была возведена в абсолют, изобразительное искусство стало повиноваться абстрактным концепциям, романы стали строиться по формулам, а танец подчинился геометрии. Однажды отделившись, бывшие союзники замкнулись в себе и предали неустанному самоанализу. Любопытство, интерес к великим тайнам, что скрывала жизнь, должны были уступить место выхолащиванию. Философия осиротела, став свидетелем этой драмы, и с тех пор постоянно сомневается, какую же ей сторону выбрать.

Когда именно произошло это смещение, сказать трудно. Для каждой научной и художественной дисциплины можно выделить свой исторический момент, когда выращенные в органической среде практики подвергаются пуританским ограничениям. Стадии, на которых «мы знаем» и «мы можем» (знаменитые *homo scientia* и *homo faber*) навязывают себе строгие правила и ограничивают в себя в выборе методов, лучше всего уподобить движению маятника. Почти каждая попытка рационализировать что-либо в какой-то момент превращается в романтическое противодействие этому, что, в свою очередь, питает новые приливы ортодоксальности.

Несомненно одно – науку сегодня все меньше и меньше объединяют амбиции. Современное научное сообщество может на словах поддерживать принципы интернационализма, междисциплинарное сотрудничество, но по своей сути оно привержено принципам анализа, редукционизма и индивидуализма. Разделение проблем и их сведение к простым основам возведено в ранг высшего искусства объективного знания. Прогрессивный исследователь сейчас делит окружающий мир на поддающиеся количественной оценке проблемы. Все, что не поддается фальсификации, тщательно из него вырезается. Как эта «нарезанная на фрагменты» реальность может вернуться к живой целостности, больше никого не беспокоит. Задача эта давно уже была отдана на откуп лишенным скрупулезности специалистам. И что мы имеем, континентальная философия так и не привыкла к этой фрагментированной реальности, а гуманитарные и социальные науки все еще пытаются найти свое место в царстве научного формализма.

Свет

Хотя расколдовывание мира, о котором писал Макс Вебер (см.: Weber 2004), не происходило во всех дисциплинах одновременно и точнее было бы говорить о конъюнктурном «перетягивании каната» между

расколдовыванием и вновь околдовыванием, дата рождения этого процесса более-менее известна. Должно быть, где-то в начале XVII в. люди впервые увидели *свет*. Или, скорее, это был момент, когда один человек начал сомневаться, что может быть источником этого *света* на горизонте: Бог или разум, магия или наука? Самым известным сомневающимся того времени был, конечно же, Рене Декарт. Он, как никто другой, понимал, что источник *света* не где-то еще, а совсем рядом, прямо перед его глазами: «Но сквозь темный хаос науки я уловил проблеск какого-то света, и с его помощью я думаю, что смогу рассеять самые непроглядные туманности» (Descartes 1991: 2-3).

Это может быть трагедией современной науки: вскоре после того, как она обрела свой путь, она снова его утратила и стала предметом нескончаемого спора о своей истинной природе. Это связано с ее весьма неоднозначным происхождением. По мнению философа Антонио Негри, данную двусмысленность можно обнаружить и в жизни самого Декарта (см.: Negri 1970). Становление этого французского мыслителя идет одновременно с разочарованием в прежнем мировоззрении – от раннего периода мысли к более зрелому. Этот период символически совпадает с его переездом из разнузданной Франции в пуританские Нидерланды в 1628 г. Согласно Негри, поздний Декарт все больше времени проводил в уединении, удаляясь от мира и обыденности, чтобы, как это ни парадоксально, лучше этот самый мир узнать.

Двигаясь на север, французский мыслитель навсегда оставил гуманизм эпохи Возрождения и обратился к систематическим методам. Иными словами, в Нидерландах в Декарте оживает философ модерна. Во всяком случае, научное сообщество предпочитает помнить его именно таким: строгим блюстителем границ между сознанием и телом, разумом и страстью, физикой и метафизикой, методами и интуицией, между индивидуальным восприятием мира, с одной стороны, и общественным – с другой. По его убеждению, мудрость больше не может быть найдена в непосредственном отношении с миром. Только когда разум освобождается от ощущений или эмоций, становится возможным получить надежное знание (см.: Descartes 1984: 129; Descartes 1991: 53).

Однако (и здесь мы подходим к ключевому моменту в исследовании мысли Декарта, проведенном Негри) эта картина не совсем точна. Декарту так и не удалось полностью изжить в себе того гуманиста и человека эпохи Возрождения, которым он был, – вопреки тому, во что заставляют нас поверить более поздние догматики рационализма (см. также: Vico 1999). Декарт продолжал верить в силу воображения и искусства, в возможности интеграции и чувственного познания. Как еще следует понимать следующее утверждение?

«Может показаться удивительным, что мы находим некие весомые суждения в трудах поэтов, а не философов. Причина этого в том, что писать поэтов побуждали энтузиазм и сила воображения. В нас есть искры познания, как в кремне: философы извлекают их разумом, а поэты высекают их воображением, чтобы те искры засияли ярче» (Descartes 1984: 4).

У Декарта рационализм остается частью *scientia mirabilis* – науки, которая с энтузиазмом позволяет себе восхищаться чудом самой жизни и видеть в далеком, неизведанном, ослепляющем свете за горизонтом путеводный ориентир. Таким образом, этот свет озаряет самого Декарта не только через разум, но и через силу воображения как источник чувственного или эстетического познания. Это означает, что подающий надежды модернист помещает правду о жизни на пересечении рациональности и интуиции, фактов и вымысла, логики и воображения (см. также: Gielen 2020). Действительно, наш интеллект всегда зависит от нашего тела и его чувственных способностей, в то время как воображение всегда помещает наши (рациональные) идеи в контекст, утверждает Декарт (см.: Descartes 1984: 4).

Эмпиризм

Признанием гибридного характера приобретения знаний Декарт предвосхищает Иммануила Канта, в чьей «Критике чистого разума» (1781) почти 150 лет спустя свершится великое примирение между рационалистическим наследием Декарта и его главным конкурентом – эмпиризмом. Это не должно нас изумлять, если мы серьезно относимся к двусмысленности философской позиции самого Декарта. Или, наоборот, то, что два основных направления современной науки стали столь диаметрально противоположными, вполне может быть связано с тем, что гибридная природа научного проекта раннего модерна не была понята должным образом. Иными словами, и рационализм, и эмпиризм пали жертвой силы тех догм, что склонны недооценивать важность изначально заложенной в проект модерна двусмысленности.

Как бы то ни было, мы находим подобную двусмысленность в работах антипода Декарта, английского философа, государственного деятеля и пионера экспериментального метода Фрэнсиса Бэкона. Бэкона называют отцом эмпирической философии, потому что он объявил саму природу источником знания. В этом смысле эмпиризм является абсолютной противоположностью рационализму. Но до какой бы степени они ни были противоположными, обе эти школы показали себя модернистскими в своей неприязни к догматическому мышлению. Для получения объективного и достоверного знания и эмпиризм, и рационализм опирались на четкие и строгие процедуры. Подобно методическому сомнению Декарта, метод Бэкона инициировал настоящую научную революцию. Начинание Бэкона, несомненно, носило бунтарский, антиавторитарный характер.

Как и Декарт, Бэкон выступает за очищение разума. Однако самое большое препятствие, которое он хочет преодолеть, – это не чувства, а так называемые идолы, или предрассудки, стоящие на пути истинного наблюдения за природой. Будучи эмпириком, он признает значение чувственных наблюдений как источника объективного и достоверного познания природы. Однако для того, чтобы прийти к точным выводам, мы должны подвергнуть природу экспериментальным вмешательствам, и эти вмешательства, по мнению Бэкона, могут зайти далеко. Он сравнивал их с методами ведения допросов своего времени, в том числе писал о наручниках, будучи

убежденным, что «природа больше раскрывает себя под воздействием насилия, нежели по собственной доброй воле» (Васон 2000: 21).

Это испытание, которому подвергалась природа, провоцировало критику бэконовского метода. Некоторые даже сравнивали его с применяемыми инквизицией методами пыток, указывая на опасность дачи ложных показаний под принуждением (см.: Pesic 1999: 82). Такие мыслители, как Адорно и Хоркхаймер, разглядели в ранней экспериментальной науке Бэкона зародыш того, что, особенно в сочетании с его знаменитым утверждением («знание – сила»), в конечном итоге станет катастрофическим крушением модерна (см.: Adorno, Horkheimer 2002: 19). Ведь именно в этом явлении можно увидеть основания для расколдовывания мира. Но предостережения об опасности аналитического экспериментализма громко и отчетливо звучали и в период раннего немецкого романтизма. Гете критиковал эмпирические науки, обвиняя Ньютона в том, что, используя свой аналитический метод, он нарушал органическую гармонию между человеком и природой (см.: Goehr 2008: 116-117). Его друг Фридрих Шиллер также указывал на ограниченность анализа как философского метода. По его словам, аналитический философ подвергает явления природы «мукам собственных приемов» и должен «прекрасное тело расчленить на понятия и сохранить его живой дух в скудном словестном остове»¹ (Schiller 1967: 4-5). В целом романтическая критика обвиняла аналитический метод в редукционизме и, следовательно, в обеднении реальности. Иными словами, научный проект модерна неизбежно упускает из виду гуманистическую сторону познания.

Однако, как и у Декарта, у Бэкона мы обнаруживаем двусмысленность, которая свидетельствует об изначально гибридной природе проекта модерна. Именно эта двусмысленность компенсировала односторонний нарратив о разделении и утрате. Показательно, что на протяжении всей своей жизни Бэкон тайно предавался алхимическим практикам. В частности, он искал так называемый алкагест, панацею, универсальное лекарство от всех болезней, что-то, что продлило бы жизнь (см.: Henry 2006). Несмотря на то, что подобные туманные практики были довольно распространены во времена Бэкона, это не означает, что его эксперименты все же проводились (как минимум частично) в атмосфере магического мировоззрения – пре-модерна. Однако, как и в случае с Декартом, эта двусмысленность обычно рассматривается как исторически случайный, чисто биографический факт, который не имеет ничего общего с реальной природой научной революции, которую предвидел Бэкон. Наоборот, считается, эта революция была явно направлена на то, чтобы разорвать все связи с мышлением пре-модерна. Поэтому к данному факту якобы нужно относиться как к проявлению сугубо личного интереса, не имеющего точек соприкосновения с программой самого проекта модерна. Во всяком случае, именно так избирательно – как отца современной науки – вспоминают Бэкона сегодня.

¹ Цитата дана по русскому переводу: Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / пер. Э.Л. Радлова. Москва : РИПОЛ классик, 2018. С. 35. – Пер.

Экспериментальное

Тем не менее есть веские основания полагать, что между разнородными аспектами мышления раннего Нового времени действительно существовала внутренняя и даже необходимая связь. Другими словами, науки раннего модерна также охватывали формы познания, которые выходили за строгие границы методов, установленные ими самими. Бэкон, например, сделал хорошо обдуманное заявление о том, как бороться с суевериями. В своей новой экспериментальной науке (в «Новом органоне») он намеренно оставил место для магического искусства. Говоря о «чародействе, колдовстве, снах, гаданиях и тому подобном», он высказал мнение, что «из домыслов и размышлений о них можно извлечь свет... дабы в дальнейшем развеять секреты природы» (Васон 2001: 75).

Это напоминает приведенное выше замечание Декарта о ценности интуитивных откровений поэтов. В этом соединении радикальных инноваций и древних верований и практик обнаруживается одно из главных антагонистических противоречий проекта модерна. Когда в XX в. данный проект был окончательно дискредитирован, одной из причин произошедшего явилось постепенное сокрытие этого фундаментального напряжения, его исчезновение из поля зрения. Только позитивистская, строго методическая сторона нарратива считалась современной. Философ Лидия Гёр показала, что это всего лишь односторонняя интерпретация, отрицающая экспериментальный характер науки раннего Нового времени. В отличие от понятия «эксперимент» (*англ.* experiment), согласно Гёр, «экспериментальное» (*англ.* experimental) является гораздо более широким и многозначным. Исход такого исследования не определяется заранее гипотезой, которую требуется доказать, он выступает результатом такого поиска, цель которого изначально под вопросом. «Экспериментальное» всегда открыто для провала. В конце концов, экспериментировать – значит пробовать то, что еще никогда не пробовали.

Понятие «экспериментальное» имеет коннотацию художественного новшества. Согласно Гёр, экспериментальный характер научной деятельности Бэкона был скорее художественным процессом, чем отчуждающим, контролирующим вмешательством, за которое его позже приняли критики (Goehr 2008: 114). Иными словами, исходная ДНК современной науки включает в себе союз с искусством и с миром. Научную составляющую модерна нельзя отождествлять с одним конкретным методом или процедурой; прежде всего, это принципиальная открытость всему новому. И это обнадеживающий и беспристрастный взгляд в будущее.

Разумно дерзкое письмо

Это подводит нас к тому, что мы назвали «разумно дерзким письмом». Это такая форма письма, прибегая к которой человек рассуждает, сочувствует и общается, не позволяя бесконечным библиографическим ссылкам раздавить себя. Переход к такому письму требует соответствующего образа мысли, который исключает приверженность одной-единственной священной методологии. Такую формулу письма можно сравнить с мышлением

художников: когда они наносят краски на белый холст, их не заботят шедевры их предшественников. Художники осмеливаются творить, потому что уверены, что их руки впитали всю историю искусства. В конце концов, творчеству необходим хотя бы один момент спонтанного проявления. Вы рискуете сделать что-либо, заявить о себе, не позволяя традициям и размышлениям блокировать ваши порывы, потому что уверены: вы проникнуты культурой и историей. Иными словами, ваши рассуждения и творения не случайным образом созвучны причудливым ассоциациям и вольным толкованиям. Источник точности и сосредоточенности мыслителя следует искать не в энциклопедических знаниях, строгих методах или использовании микроскопов, а в правильном ощущении мира и неоднозначности, сложности возникающих в нем проблем.

Парадоксальное, на первый взгляд, выражение «разумно дерзкий» (*англ.* *sensible audacious*) мы заимствуем у Фридриха Ницше. Точнее, из его введения к вышедшему в 1886 г. второму изданию «Веселой науки» (Nietzsche 1974). Он называет эту книгу «рискованной, но неопровержимой» (*нем.* *bedenklich-unbedenklich*) еще и потому, что в ней переплетены искусство и философия. Кроме того, во введении Ницше замечает, что он написал «Веселую науку», вылечившись от депрессии и снова с надеждой смотря в будущее. И именно эти два элемента – попытка снова соединить искусство и науку и исполненная надежды устремленность в будущее – обогащают разумное начало и наполняют его той дерзновенной, жаждущей риска жизненной силой, которую мы здесь ищем.

Несмотря на знаменитое провозглашение смерти Бога в этой книге, послание Ницше в конечном итоге оптимистично. Сумасшедший, ищущий Бога, среди бела дня зажигает фонарь. Он тоже ищет свет на горизонте и знает, что будет, если этот свет погаснет. «Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца?» – отчаянно вопрошает он (Nietzsche 1974: 181). Но там, где когда-то Бог служил светом, Ницше доверяет вселяющей надежду легковесной науке, что называется *gaia scienza* – в честь возводимого в идеал старопровансальского искусства поэзии. Эта древняя песенно-поэтическая культура трубадуров ознаменовала собой рождение современной европейской поэзии. Используя термин «веселая наука», Ницше сознательно позиционировал себя как антиученого. Он хотел не отвергать науку целиком, а высмеивать отдельные пуританские представления о ней. В «веселой науке» Ницше нашел не только идеальное сочетание антидогматического мышления и острой критики – отличительных черт проекта модерна, но и искреннее «да» самой жизни, которому, по его мнению, особенно угрожал душающий академизм.

В то же время Ницше остается выдающимся поборником науки модерна. В своем комментарии к английскому изданию «Веселой науки» переводчик Уолтер Кауфман прослеживает связь между Ницше и американским философом, эссеистом Ральфом Уолдо Эмерсоном. Ницше хвалил последнего за то, что тот получил «действительно научное образование» (Nietzsche 1974: 7). Первому изданию «Веселой науки» в качестве эпиграфа была предпослана цитата Эмерсона. Как и Ницше, Эмерсон связывал мудрость и зна-

ние с поэтическим взглядом на мир. У обоих мыслителей удивление тайнам мира и открытость ему неизменно сочетались с дисциплиной и точностью ученого. Именно это сочетание и означало для них «веселую науку». Нелучайно Эмерсон называл себя «профессором Радостной Науки», тем самым дистанцируясь от господствовавшего тогда в Европе сциентистского подхода. В дневниковой записи 1841 г. он выразил неприязнь к этой мыслительной традиции, которую он считал рабской и догматичной: «...я был создан для другой должности, профессора Радостной Науки [!]. Детектор и определитель оккультных гармоний и неописанных красот, вестник вежливости, благородства, учености и мудрости; сторонник Единого Закона. Но как тот, кто должен утверждать это в музыке или танце, жрец Души» (цит. по: Nietzsche 1974: 88).

Какое поразительное сходство с ранней экспериментальной наукой Бэкона! Как и Бэкон, Эмерсон выступает против засилья интеллектуальных авторитетов. В манере, напоминающей стиль произведений Бэкона, он рассуждает об идолах своего времени и ищет знания о мире в самом мире, а не в книгах (см.: Hopkins 1958: 408-409). Кроме того, данная цитата показывает, что двусмысленность науки раннего модерна также отвечала духу «веселой науки» Эмерсона: утвердительной науки, которая хорошо выражает себя в музыке или танце, а также в красноречии. В юности Эмерсон зачитывался «Опытами» Бэкона, которые служили для него источником мудрости и чувственного наслаждения. По его словам, сочинения Бэкона «облачены в стиль такого великолепия, что люди, обладающие богатым воображением, находят удовольствие в одной красоте его выражений» (цит. по: Hopkins: 1958: 410).

Сам Бэкон осознавал важность собственного стиля для тех научных откровений, которые он намеревался представить в своем «Новом Органоне». Он отказался от стандартных методов письма, избрав афористический стиль, поскольку афоризмы для него – это то «неполное знание» (*англ.* broken knowledge), которое побуждает к дальнейшим исследованиям, в то время как приверженность методологии приводит к «спектаклю» тотального знания. Строгое письмо сдерживало ученых, как если бы они находились на пределе своих возможностей (см.: Vascon 2001: 145-146). Не скрывая своих прозрений в герметическом трактате, Бэкон сумел прийти к той мудрости, которая по определению была открыта для дальнейших сомнений. Другими словами, эстетическая форма его письма была напрямую связана с характером нового научного проекта, который он отстаивал. Поэтому эстетическое знание, которое основывается на чувственном восприятии, неотделимо от антидогматического мышления раннего модерна.

В XX в. Адорно сформулировал аналогичную идею в своем знаменитом «Эссе как форма» (1958). В нем он опровергает преобладающее представление о том, что искусство будет всегда относиться к области иррационального и что только методически организованная наука имеет монополию на знание. С этой точки зрения все, что не подчиняется данной дихотомии, считается нечистым. Вместе с тем эссе представляет собой именно такую гибридную форму, и потому оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы

критически переосмыслить одностороннюю ориентированность науки на строгий метод: «Со времен Бэкона – который сам являлся эссеистом – эмпиризм был «методом» не в меньшей степени, чем рационализм. Сомнение в их безусловной правоте осуществлялось в самой процедуре мышления почти исключительно посредством эссе. В нем присутствует осознание нетождественного, хотя и без прямого упоминания; оно радикально в своем нерадикализме, в воздержанности от всякого сведения к одному принципу, в акцентировании частного по отношению к тотальному, в фрагментарности»¹ (Adorno 1984: 157).

«Радикально нерадикальный» характер такого формата, как эссе, мало чем отличается от «разумно дерзкого» мышления и письма, которые мы рассматриваем на этих страницах. Всё это присуще критике науки. Подобную мысль мы встречаем и у Ницше. Уже в своей первой книге «Рождение трагедии» он задался целью «увидеть науку сквозь призму художника», поскольку «проблема науки не может быть познана на почве науки»² (Nietzsche 1993: 4–5). Однако, как и в случае с Эмерсоном, критика науки не означала, что Ницше ее радикальным образом отвергал. Он лишь отверг упрощенный выбор между позициями за или против науки (см.: Nietzsche 1974: 13). Его позиция была более диалектичной, сохраняла двусмысленность «веселой науки». В самом Ницше и философ, и художник уживались в некоем текучем континууме. Его философия танцует и празднует, она поэтична, она поет, но ей также свойственно резкое неприятие догматов и она несет в себе свободу, то есть, как было показано выше, ей присущи типичные черты научного проекта модерна.

Если рассматривать этот проект как движущую силу открытой, экспериментальной науки, то творческий процесс «разумно дерзкого письма» соотносится с поэзией и, в более широком смысле, с литературой. Фокус и направление как мышления, так и письма определяются не тем, что мы можем наблюдать, а скорее тем, что мы можем вообразить как некое чудо, которое мы надеемся найти за горизонтом. Подобно тому как Декарт в своей новой метафизике интуитивно возлагает надежды на чудеса геометрии и математики, или, в более широком смысле, на науку модерна, так и дерзновенное мышление стремится к неизвестному и неопределенному. Исследование становится в большей степени поиском смысла. Человек не просто хочет найти реальность такой, какая она есть, он также формирует мир актом этого поиска (см.: Gielen, Wynants 2020). Негри считает, что Декарту был не чужд такой подход: он хотел не только обнаружить факты такими, какие они есть, но и перестроить или по крайней мере изменить и мир, и космос одновременно. Вот почему Негри называет Декарта не только основателем современной науки, но и магом своего времени (Negri 1970: 47).

¹ Цитата дана по русскому переводу: *Адорно Т. Эссе как форма* / пер. с нем. И. Михайлова // *Своеволие философии* : собрание филос. эссе / сост. и отв. ред. О.П. Зубец. Москва : Издат. дом ЯСК, 2019. С. 71. – *Пер.*

² Цитата дана по русскому переводу: *Ницше Ф. Рождение трагедии* / пер. Г. Рачинского // *Ницше Ф. Полное собрание сочинений* : в 13 т. / общ. ред. И.А. Эбаноидзе. Москва : Культура. революция, 2012. Т. 1, ч. 1. С. 11. – *Пер.*

Темнота

Жизнеспособность проекта модерна заложена на уровне соединения в нем строгого и образного мышления – и это соединение неоднозначно. Чтобы осознать радикальность модерна как исторического, поворотного момента, нужно понять, каким образом могут встретиться ученый и художник, искатель и созидатель, изобретатель и творец. Исследуя все то, с чем они сталкиваются, импровизируя при этом, дерзновенные ученые расчищают путь к далекому свету на горизонте. Их размышления близки скорее к эссеистике, нежели к научным трудам, поскольку они более открыты, умозрительны и ассоциативны, нежели закрыты или герметичны, логичны и аргументированы. Их методология феноменологична, даже эстетична. Они руководствуются всеми своими чувствами. Короче говоря, радикально современная наука не скована строгими ограничениями, она прокладывает себе дорогу сквозь реальность. Разумно дерзкие мыслители создают лучшую реальность с должной для того гибкостью.

Сегодня особенно полезно оглянуться назад, в те времена, когда ученые еще могли счастливо мечтать. В конце концов, именно энергия, высвобожденная мечтой о прогрессе: надежда на лучшую, более счастливую и полноценную жизнь в сочетании с безотчетной верой в то, что на нашей планете этого можно достичь, даже создать такую жизнь самим, положила начало проекту модерна и способствовала его развитию. Была создана перспектива далекого, но общего для всех нас горизонта, взгляд за который с тех пор блокируется аналитической философией, эмпирической социологией, когнитивной лингвистикой, классической экономикой и социально-политической наукой, в частности всеми теориями рационального выбора. Этот горизонт – перспектива непознанного, его нельзя эмпирически верифицировать, поскольку он – бесконечно далекое, прекрасное в своей эфемерности будущее. Райским и утопическим выглядит это бесконечно далекое место. Подобно любви, его зов может ослепить нас.

Возможно, лучшей метафорой здесь может служить миф о сиренах. Точно так же, как Улисс заставил команду своего корабля заткнуть уши, чтобы до них не доносился роковой зов сирен, наука наших дней, похоже, тоже блокирует большую часть своих чувственных переживаний (ощущений), чтобы ее корабль свернул с неизвестного курса в будущее, которое не поддается количественной оценке. Например, не является ли следование советам вирусологов и экономистов довольно-таки односторонним (количественным) ориентиром для преодоления кризиса COVID-19? Не определяется ли, таким образом, наивысшая цель исключительно как выживание в краткосрочной перспективе? Психологические, социальные и культурные условия, влияющие на качество жизни и совместного проживания людей, играют не очень заметную роль в политической повестке, а потому долгосрочная перспектива полноценной и яркой жизни остается за кадром (см.: De Munck, Gielen, 2020).

Красивый, яркий, но ослепляющий свет на горизонте, кажется, и сегодня пугает науку, заставляя ее игнорировать вопрос о лучшей жизни. Начиная с эпохи модерна наука стремится пролить свой свет на мир. Однако

на этом пути в формальном выражении она, похоже, теряет равновесие, рискуя ограничиться одними контурами светового пятна, отбрасываемого собственным (методологическим) фонарем. В наши дни исследователь предпочитает не тратить свое время на поиск смыслов во мраке домыслов и прочей «туманной» науке. Сегодня трудно найти ученого, отважившегося предложить научную гипотезу, работа над которой требовала бы лет двадцать, а то и промежуток больший, чем жизнь самого ученого, не говоря уже о том, что рейтинговое, престижное научное издательство или уважаемый журнал категории A1 осмелится опубликовать работу с таким умозрительным подходом к науке...

Это ограничивает мыслимое тем, что уже известно или может стать известным в краткосрочной перспективе. В настоящее время заявка на получение фондового финансирования для проведения исследования должна уже включать в себя ожидаемые результаты этого исследования. Романтические прыжки в неизведанную тьму или непредсказуемые дали больше не приветствуются. Никаких больше приключений вне контуров света, отбрасываемого фонарями самой науки. Осуществимое и поддающееся количественному измерению преобладает над тем, что могло бы быть возможным, а прагматизм одерживает верх над стремлением к идеалу. Похоже, что науки с годами утратили свой радикализм, сменив его на недальновидный формализм. Только то, что поддается количественной оценке, теперь выглядит разумным. Кроме того, этот научный формализм окутывается аполитичным и трансисторическим туманом объективности и управленческого реализма, притворяется невинным и беспристрастным. В сущности, этот нарратив, предвещающий так называемый конец истории (см.: Fukuyama, 2006), продвигает конкретную идеологию, которая зиждется на том, что именно он и есть единственно возможный разумный нарратив. Обещание, которое формальный метод дает науке, сродни обещанию, которое технократия дает политике: первое сулит объективную истину, лишённую каких-либо эмоций или субъективности, второе – эффективное и благое управление, лишённое политической окраски или идеологии. Короче говоря, все это постполитика (см.: Mouffe 2005).

Утратив связь с историей и долговременную память, мы потеряли не только долгосрочную перспективу, но и (выраженное) направление движения, о чем упоминалось ранее. Когда дерзновенное воображение далекого горизонта было исключено тем, что «научно мыслимо» и «политически осуществимо», наука и политика продали свою мятежную душу модерну. Совершив эту сделку они также утратили игривость и веселость. Университеты превратились в безопасные, но скучные гавани для профессоров, ни на йоту не отступающих от своих методичек, исследователей, нацеленных на публикацию только в журналах категории A1, и прочих приверженцев формализма – это вращающаяся дверь для проходящих в науку и уходящих из нее карьеристов. Политически корректный активизм, который сегодня (возможно, неслучайно) также оперирует количественными критериями и другими «объективными» данными, еще терпят в стенах гуманитарных институтов и факультетов искусств. Но из института «всеобщего знания» вы-

теснены вольнодумцы и эрудиты широкого спектра, теперь там нет места мечтам, субъективизму, эмпатии и интеллектуальной смелости.

И поэтому воля к знаниям сводится к воле знать лишь то, что нужно, чтобы найти работу и получить профессию. Социальное стремление построить лучший мир сменяется стремлением построить собственную карьеру. И то, что имеет научное значение, все больше сводится к тому, что вписывается в очерченную траекторию формальной научной карьеры. Сегодня молодым исследователям лучше не отклоняться от данной траектории даже на миллиметр, поскольку конкуренция с их коллегами слишком высока. Таким образом, мыслимое все больше соответствует тому, какие размышления можно представить в рамках формализованного издания, а то, чему можно научить, сужается до того, что выгодно на рынке труда. И поэтому все, что не поддается количественному исчислению (как публикации или полученные дипломы), постепенно вытесняется из области науки. Отныне не «я мыслю, следовательно, я существую», а «со мной следует считаться, потому что меня посчитали, следовательно, я существую» (*англ.* I count because I am counted, therefore I exist) стало кредо современного исследователя, делающего карьеру в научном учреждении.

Но чем же этот профессиональный исследователь отличается от мыслителя раннего модерна, который изолировался от мира, чтобы лучше его понять? Оба не только принимают индивидуализм, но и используют формальный метод, чтобы систематически прокладывать себе путь. Разве ученые сегодня не уповают на миф о картезианском суверенном субъекте? И не прячут ли они свои личные амбиции за выстраиванием логических рассуждений и методологической проверкой реальности? Пакт между индивидуализмом и научным методом действительно можно найти у Декарта, но зададимся вопросом, не превратилась ли современная версия этого пакта в новую форму догматического мышления. Те, кто видят себя как Я, отделенное от мира, как автономные, рационально действующие личности (как до сих пор постулирует теория рационального выбора); те, кто чувствуют, что должны дистанцироваться, чтобы понять окружающий мир; те, кто постулируют цензуру как условие познания, не могут (да и не способны) полагаться на интуицию, эмпатию и эстетические чувства, чтобы сформировать ощущение окружающего мира, что соответствовало бы современным формализованным стандартам. В то время как мыслители раннего модерна были привержены принципам открытости, и потому их мировоззрение было открыто новым принципам и методам, сегодняшние ученые работают в сбившейся с курса научной индустрии, и их мировоззрение наглухо закрыто.

Для современных ученых формальный метод является единственным оставшимся рационально приемлемым способом сохранить связь с миром и войти в общественную жизнь. Только общий для всех метод может гарантировать наличие общего горизонта. Это напоминает стокгольмский синдром, при котором тот, кто ограничил нашу свободу и фактически запер нас, парадоксальным образом воспринимается нами как последняя надежда на спасение. Теперь всякая связь с миром и обществом опосредована

методологией, логикой или правилами, законами и процедурами, которым необходимо следовать. Тех, кто методично закрывается от мира, только метод еще может связать с коллективным началом. Только когда все следуют одному и тому же методу, становится возможным общее восприятие реальности, и тогда общее мировоззрение может породить сам дух общности. Между прочим, неудивительно, что при таком способе мышления любой спор о методе всегда можно свести к борьбе за власть или к борьбе за власть, по крайней мере, в пределах университета.

По сравнению с чувственно воспринимаемым бытием-в-мире методическое опосредование *себя и мира* приводит к бесплодной связи с окружением, в котором нет жизни, так же как технократия не допускает теплых отношений с политическим сообществом. Кажущаяся объективность самого метода в конце концов порождает расколдованный мир. Этот холодный способ связи заставляет современного мыслителя, находящегося в изоляции, с ностальгией смотреть в прошлое, где эмоциональная связь все еще была возможной. Согласно Негри, изолировавший себя Декарт горевал об утрате гуманизма человека эпохи Возрождения. Вместе с тем, чувственная связь с целостной реальностью, вероятно, была одной из причин, почему французский мыслитель продолжал верить в то, что людские переживания могут проложить дорогу к знаниям. Но разве нынешние профессиональные исследователи не пребывают в таком же меланхолическом настроении? Не жаждут ли они также обрести связь с местным сообществом или по крайней мере с интеллектуальной его частью? И разве они не желают также познать мир через эмпатию к нему, испытывать к нему теплые чувства? Или современные ученые довольствуются логикой и поддающимися проверке формальными методами, сочетающимися с некоторой долей политкорректного (расчетливого и заслуживающего доверия) активизма?

Связующая сила

Сегодня мечта почти сошла на нет. Медленно, но верно эстетическое (основанное на чувствах) знание отодвигается на обочину современной науки. Таким образом, не разумное, а расчетливое мышление (поскольку плоды его можно подсчитать по научным публикациям) формирует новую неолиберальную метафизику науки. Когда мечта ученого не устремляется дальше того, чтобы занять высшую достижимую ступень в научной карьере; когда высшие социальные цели, стремление к общему благополучию и лучшей, более гуманной жизни сводятся к личной выгоде, наука не только теряет долгосрочную перспективу, но и свою обязывающую силу. Особенно в гуманитарных науках, но, как ни странно, и в социальных науках тоже, коллективная мечта и цель достижения общего счастья и благополучия разрушаются индивидуальными, более или менее умными шагами карьеристов. Когда искусство и наука, воображение и методология, чувственный опыт и эмпирическое наблюдение больше не могут быть созвучны, тогда рассеивается и общая энергия, необходимая для объединения усилий в поддержку проекта модерна. Или, как выразился Негри, мечта теряет свою силу как «коллективный инструмент подрывной деятельности» (Negri 1970: 12).

Перефразируя слова Джамбаттисты Вико, процитированные нами в начале статьи, можно сказать, что тирания жесткой научной конкуренции разрушает солидарность, из-за неё люди не могут набраться смелости мечтать и путешествовать вместе, создавать союзы и двигаться сообща к неизвестному горизонту.

Из страха быть ослепленной современная наука отказывается смотреть на свет на горизонте, теряясь на фоне постмодернистского ропота. Нет больше того грандиозного повествования, которое было способно объединять умы и сердца, которое осмеливалось вести за собой массы. И да, конечно, большой нарратив модерна вводил в заблуждение и приносил бедствия множеству людей в прошлом. Постмодернизм убедительно доказал это. Но действительно ли этот великий нарратив исчез как следствие наступления постмодернизма? В конце концов жесткая конкуренция на рынке научных публикаций в сочетании с методологическим фетишизмом современной науки также приводит к нарративу, который оставляет мало пространства для вариативности (см.: DiMaggio, Powell 1983). Происходит это через конкурентный и институциональный изоморфизм (формальный метод здесь выступает как институт). Тот, кто читает научные журналы по определенной дисциплине, а также тот, кто часто посещает биеннале или театральные фестивали, не может не заметить, что и исследователи, и художники часто занимаются одним и тем же, что неизбежно приводит к применению сходных методов. Означает ли все это, что у нас все-таки есть новая мечта?

В любом случае кажется, что доминирующий нарратив все еще существует, но уже без погони за общей мечтой. Проще говоря, в то время как ранний нарратив модерна о прогрессе осмеливался двигать нас всех к утопии, сегодня каждый пытается самостоятельно избежать спроецированной (экологической, экономической, социальной, ментальной или вирусной) антиутопии. Если проект модерна изначально был нацелен на лучшее будущее, то его сегодняшняя траектория, похоже, направлена на то, чтобы избежать худшего, – и все. Мышление и действия ныне не направлены к свету, а нацелены на то, чтобы не наступила тьма. Воображение ныне служит не для того, чтобы придать мысленную форму прекрасному и возвышенному, а для того, чтобы попытаться избежать худшего сценария путем мгновенного решения всех проблем. Грандиозные планы и стратегии уступают место техническим и тактическим действиям. Воображение не может позволить себе заглядывать в перспективу – оно призвано находить творческие решения здесь и сейчас. Таким образом, современный проект модерна теряет свой дерзкий, жизнеутверждающий характер, а науке не хватает умозрительного воображения, которое могли бы дать искусство, игра, веселье и, конечно же, красота.

Перевод и примечания Я.Ю. Моисеенко

Научная редакция перевода М.С. Ильченко, В.С. Мартьянова

Translated from English by Ya.Yu. Moiseenko

Academic editing by M.S. Ilchenko, V.S. Martianov

References

- Adorno T.W. 1984. The Essay as Form, transl. by B. Hullot-Kentor & F. Will *New German Critique*, no. 32 (Spring – Summer), pp. 151-171.
- Adorno T.W., Horkheimer M. 2002. *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*, G. Schmid Noerr (ed.), E. Jephcott (trans.), Stanford, Stanford Univ. Press. 298 p.
- Bacon F. 2000. *The New Organon*, L. Jardine & M. Silverthorne (ed.), Cambridge, Cambridge Univ. Press. 292 p.
- Bacon F. 2001. *The Advancement of Learning*, b. 2, New York, Random House. 254 p.
- Munck de M., Gielen P. 2020. *Nearness. Art and Education after Covid-19*, Valiz, 64 p.
- Descartes R. 1984. *The Philosophical Works of Descartes. Vol. 1, 2*. Cambridge.
- Descartes R. 1991. *The Philosophical Works of Descartes. Vol. 3*. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 418 p.
- DiMaggio P.J., Powell W.W. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, *American Sociological Review*, vol. 48, iss. 2, pp. 147-160.
- Fukuyama F. 2006. *The End of History and the Last Man*, Reissue ed., New York, Free Press, 418 p.
- Gielen P. 2020. Sensuous Science. On the Threshold between Fact and Fiction, N. Wynants (ed.) *When Fact is Fiction. Documentary Art in the Post-Truth Era*, Valiz.
- Gielen P., Wynants N. 2020. In Quest of the Humanities (Again): What We Can Learn from Research in the Arts, *Documenta*, vol. 34, iss. 1, pp. 160-185.
- Goehr L. 2008. Explosive Experiments and the Fragility of the Experimental, Elective Affinities. *Musical Essays on the History of Aesthetic Theory*, Columbia Univ. Press, pp. 108-135.
- Henry J. 2006. *The Secret Life of an Alchemist: Francis Bacon's Real Philosophy of Nature*, Lecture given to the Francis Bacon Society in August 2006, available at: <http://www.sirbacon.org/henryalchemist.htm> (accessed November 12, 2020).
- Hopkins V.C. 1958. Emerson and Bacon, *American Literature*, vol. 29, no. 4, pp. 408-430.
- Mouffe C. 2005. *On the Political*, London, New York, Routledge, 160 p.
- Kant I. 2003. *Critique of Pure Reason*, H. Caygill (trans.), A.W. Wood and P. Guyer (eds.), Penguin Books.
- Negri A. 1970. *The Political Descartes: Reason, Ideology and the Bourgeois Project*, London, Verso, 344 p.
- Nietzsche F. 1993. *The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music*, S. Whiteside (trans.), M. Tanner (ed.), London, New York, Penguin Books, xxxi, 120 p.
- Nietzsche F. 1974. *The Gay Science. With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs*, W. Kaufmann (trans.), New York, Vintage Books, xviii, 396 p.
- Pesic P. 1999. Wrestling with Proteus: Francis Bacon and the “Torture” of Nature, *Isis*, vol. 90, no. 1, pp. 81-94.
- Schiller F. von. 1967. *On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters*, E.M. Wilkinson and L.A. Willoughby (trans.), Oxford, Clarendon Press, 372 p.
- Vico G.B. 1999. *New Science: Principles of the New Science Concerning the Common Nature of Nations*, J. Taylor and R.C. Miner (trans.), London, Penguin Books, 520 p.
- Weber M. 2004. *Science as Vocation*, Indianapolis, Cambridge, Hackett Books.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Марлиз де Мунк

Доктор философии, руководитель художественных исследований в Королевской консерватории Антверпена и Королевской консерватории Гента, преподаватель философского факультета Антверпенского университета, г. Антверпен, Бельгия;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3451-925X>

Паскаль Гилен

Профессор социологии культуры и политики Антверпенского университета, г. Антверпен, Бельгия;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2846-4328>

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Marlies De Munck

PhD in the philosophy of, she currently teaches at the Philosophy Department of the University of Antwerp and is supervisor of artistic research at the Royal Conservatory of Antwerp and the Royal Conservatory of Ghent, Antwerp, Belgium;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3451-925X>

Pascal Gielen

Professor Sociology of Culture & Politics, University of Antwerp, Antwerp, Belgium;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2846-4328>